Александр Люсый

О ментальной карте России: К философии текстуальности

Основоположник концепции Петербургского текста русской культуры В.Н.Топоров, вопреки своим намерениям, вызвал настоящую текстуальную революцию в современном российском гуманитарном знании. Ввиду того, что текст и большие текстовые структуры становятся глобальной (т.е. и максимальной, и минимальной) семиотической целостностью, возникает необходимость представить общую текстуальную конфигурацию культуры с ее культурными макро- и микротекстами. Предполагается, в частности, переописание культуры как системы вертикальных и горизонтальных текстов, создание общей методологической матрицы текстуальной деятельности, текстообразующей системы координат русской культуры, которая позволяла бы судить о силе того или иного текста, определяемая способностью быть посредником между прошлым и будущим.

Созданная М.Бахтиным типология культурных универсумов в представлении Ю.Кристевой расчленяет «линейную историю на блоки, образованные знаковыми практиками». Отсюда формулируемый Ю.Кристевой закон: «Предварительным – непременным – условием и прямым и неотвратимым следствием воссоздания бесконечности генотекста является стирание наличного Смысла, на месте и в точке которого происходит вписывание Истории; это не «ретроспективная» История, не восстановление путеводной *нити*, связывающей «ис-

торические достопримечательности», а текстовая, *монументальная* История, бурление множественной означивающей деятельности в «мириадах развертывающихся повествований»».

Культура в истории мыслит «текстами»: сгустками «образов, мотивов, идеологических установок». Не все они имеют локальную привязанность. Текст может быть Крымским, но также Аптечным и Больничным, Евангельским и Пушкинским. Но в любом случае человеку культуры свойственно не просто организовывать свое пространство, но делать это символически. В.Топоров утверждал, что без этой связи автора и текста «деформируется, ослабляется или вовсе исключается вся сфера парадоксального..., экспериментального, то есть то, что является *чудом пресуществления* текста, пространством, в котором вступает в игру своеобразный аналог принципу дополнительности Нильса Бора (поэт и текст едины и противоположны одновременно; автор описывается через текст и текст – через автора; поэт творит текст, а текст формирует поэта и т.д.), и любое изолированное описание... оказывается частичным и неадекватным».

Единый текст культуры – это осмысление рефлексий по поводу культуры и в то же время творческая потенция в самореализации культуры. В качестве самых объемных текстуальных оппозиций русской культуры предстают: «горизонтальная», предстающая все более абстрактной оппозиция Восток – Запад и менее идеологизированная, исторически первичная внутри культурная «вертикальная» оппозиция Север – Юг (с ее «северным» и «южным» текстами).

«"Парадигма" противостояния России "Западу" как целому, – отмечает Ю.Левада, – оформилась лишь в XIX веке, после наполеоновских войн и обладает многими характеристиками позднего социального мифа... Образ "Запада" во всех его противостояниях (официально-идеологическом, рафинированно-интеллигентском или простонародном) – это прежде всего некое превратное, перевернутое отображение своего собственного существования (точнее, представления о себе, своем). В чужом, чуждом, запретном или вожделенном видят прежде всего или даже исключительно то, чего недостает или что не допущено у себя. Интерес к "Западу" в

этих рамках — напуганный или завистливый, все равно – это интерес к себе, отражение собственных тревог или... надежд»[1]. Этот, по выражению Левады, «комплекс зеркала» объясняется многими критическими переломами и перипетиями русской истории и культуры.

Взаимодействия самых общих культурных текстов – Северного и Южного – осуществляется и в текстах иного уровня. Поморская культура как квинтэссенция Северного текста возникла в результате колонизации пришлым русским населением северных территорий. Но это был особый тип колонизации, важнейшей стороной которой была «монастырская колонизация» преимущественно безжизненных и малонаселенных просторов, хотя известны и эпизоды этнических конфликтов.

«Русское население, пришедшее на Север с более южных территорий, не только создает новую *систему жизнеобеспечения*, более адекватную, чем их традиционная, в новой для него вмещающей среде, но и "строит" во взаимодействии с местным населением свою сакральную среду – среду *своей собственной* культуры, воспроизводя тем самым воплощенную в совокупности культовых сооружений духовную ее составляющую. Таким образом, природный ландшафт превращается в культурный ландшафт, который включает в себя как профанную, так и сакральную части. Последняя является для пришельцев вещественно реализованной "картиной Мира", и на ее создание тратится заметная доля общественных энергоресурсов»[2]. В целом процесс освоения Севера порождался не «материальными» (в широком смысле слова) интересами или нуждами людей, а преимущественно духовными. На север изначально шли не столько колонисты, сколько поток людей, руководствовавшихся православной идеей поиска Града Небесного, Царства Божия на Земле. Материальные интересы имели тут второстепенное значение. Южный культурный вектор имел в русской культуре более прагматичную направленность.

У Пушкина из места «вывернутой» полночно-полуденной (северо-южной) ссылки (крайний юг южного полушарья, вблизи которого находится пустынный остров святой Елены – зеркальный аналог овидиевого «севера») выводится обнадеживающая для полунощной страны весть.

Еще далее продвинулся Пушкин в этом направлении в повести «Капитанская дочка». Пугачев здесь при первом своем появлении как будто бы сгустился из снежной бури: «Я ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное... Ямщик стал всматриваться: «А бог знает, барин... Воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек»». То же, кстати, и в «Бесах»: «Что там в поле, пень иль волк?».

Таким образом, пугачевщина предстает полнощной изнанкой российской истории, готовой сокрушить не только искусственно-стройный город, но и искусственно-стройное государство, созданное той же самой историей. Петр в «Медном всаднике» воплощает в себе обе ипостаси России. Во вступлении к поэме он присутствует как исторический человек. В основных частях поэмы – как наводящий ужас истукан. Между прочим, не столько усмиряющий возмущенные волны, сколько провоцирующий и вдохновляющий их буйство своей простертой дланью.

«Основная идея заключается, стало быть, в том, что созидательная сторона истории отождествилась у Пушкина с темой полдня природы, тогда как разрушительная историческая стихия – с полнощной фазой российского природного круга. Обе исторических ипостаси оказались встроены в очертания циклического времени – основной источник гармоничной ясности пушкинского искусства. Иными словами, утверждающееся новое необратимое время осознано как сторона кругового и как бы вобрана в его очертания. В последующие десятилетия историческое время станет у русских художников единственным, о круговом времени уже никто и не вспомнит. Но вместе с ним уйдет и уникальная мера и ясность пушкинского художественного строя»[3].

Издатель журнала «Телескоп», рискнувший начать публикацию «Философических писем» Чаадаева, Николай Надеждин в статье «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» (1836) полагал, что русский язык, «запечатленный клеймом Севера», вышедший «из благодатных недр задунайского Юга», «раздающийся ... от хребтов Карпат до хребтов Саяна, от моря Белого до моря Черного», является главной объединяющей силой, повлиявшей на развитие литературной ис-

тории. «Удаление Московии во глубину Севера и разрыв прежних тесных связей с Югом», по мысли Надеждина, «застудили русскую речь в совершенно полночные формы», но язык укрепился, «изъявил права на самобытное существование», «малопомалу завладел особым отделом письменности, где достиг наконец значительной степени выразительности и силы»[4]. По мнению Надеждина, Ломоносов, «сын холодного Севера, представитель русского бесстрастного здравомыслия», слепил из русского языка мозаику («Российская грамматика»).

Однозначно был «вреден север» для Осипа Мандельштама. Петербург превращается у него в Петрополь – прозрачное и призрачное царство умирающей культуры, поглощаемое хаосом географически не локализованного моря. Море с положительными коннотациями – всегда южное. Его образ ассоциируется с мифологической античностью, легко переключаясь в иносказательный план – от «житейского моря» до «свободной стихии».

В статье «Слово и культура» Мандельштам описывает «*Траву на петербургских улицах – первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов*»[5]. Любопытна перекличка этой эсхатологической картиной гибели старой и зарождения *новой одухотворенной природы с описанием разоренного*, но вполне *практического рая* в заметке «Ползучий кустарник» (лето 1921 г.) Александра Грина. Здесь тоже описан феномен XX годов – нашествие травы на улицы Петербурга – «*казалось, произойдет зарастание исторических городских перспектив лютиками, ромашкой и колокольчиками*»[6].

Север стал источником поэтической речи у Иосифа Бродского, которая возникла как бы в силу необходимости спастись от обледенения:

> Холод меня воспитал и вложил перо
> В пальцы, чтоб их согреть в горсти.

В стихотворении Велимира Хлебникова «Ночь в окопе» (1920) история и география России рассматриваются как органично единый пульсирующий северо-южный и западно-восточный текстуальный блок в его возможном завершении: «...Чтобы Москву **овладивосточить...**». Текстуальное прочтение России дополняется *буквальным*.

Но поэт выражает веру в свой вариант культурной глобализации, в слияние текстуальных потоков в единый текст культуры (минуя Невский поток).

Я верю: разум мировой
Земного много шире мозга
И через невод человека и камней
Единою течет рекой,
Единою проходит Волгой.

Обобщение накопленных в исследованиях последних лет материалов позволяет заметить, что локальный текст тяготеет к мифу как некой архетипической целостности. Текст и миф описывают некоторый целостный культурный локус в семиотическом, знаковом дискурсе: текст может порождать миф, миф может закрепляться в тексте или текстах. Наиболее общие типы петербургских мифов: миф творения (основной тетический миф о возникновении города), исторические мифологизированные предания, связанные с императорами и видными историческими деятелями, эсхатологические мифы о гибели города, литературные мифы, а также «урочищные» и «культовые» мифы, привязанные к «узким» локусам города.

Московский текст сегодня – сплетение иных текстов, в частности западо-востока, в котором вестернизация, очевидная в городской среде и быту, идет рука об руку с приметной ориентализацией (торговля типа «восточный базар», быстро растущие этнические группы, квазиобщинные структуры, городская власть). Это текст-матрешка, в котором мир либерально-рыночных структур, бирж, фондов, интернета вложен в евразийское идеолого-политическое и средовое пространство, где переплетаются модернизационно-вестернизационные и ориентально-архаические черты. В новомосковском тексте очевидны подражания, имитации визуальных, знаковых, деятельностных форм в отрыве от смысла, содержания вплоть до противоречий с ними.

Сокрушая Москву, ее очередные реконструкторы убеждают нас, что на новом уровне воссоздают истинный «московский стиль». Былая милая разновысотность московских особнячков, разрывы между домами «большой деревни» должны материализоваться в разнокалиберных небоскребах Сити и ком-

плекса «Красные холмы». Однако, как утверждают сведущие специалисты, все принципы «московского стиля» – это фальсификация профессиональных идей. Безжизненные формы «большого стиля» соединяются с принципами «вернакулара», т.е. культивированием местных архитектурных и градостоительных особенностей. Вместо уважения к истории – ее имитация, наиболее наглядно выраженная в новоделе храма Христа Спасителя. Вместо уважения к градостроительному комплексу – имитация уважения к нему при полной его трансформации в стиле диснеевских мультфильмов (Манежная площадь). Вместо действительно современной архитектуры – имитация прошлых веков. Профессионалы современной архитектуры рассматривают это как глубокое унижение.

Программа реконструкции Москвы заключается в попытке сверху и под контролем создать иллюзию бурного неконтролируемого роста как результата экономических преобразований. То есть, с одной стороны, все должно выглядеть так, будто никакой сверхидеи нет, а с другой – чтобы каждая архитектурная форма говорила: «Я благодаря власти появилась».

Когда Москва (XV–XVI вв.) и Петербург (XVIII в.) переживали действительный рост, туда широко приглашали талантливых иностранных архитекторов, постройки которых органично вписывались в общий стиль. Сейчас этого нет. При всей грандиозности новые московские строительные проекты абсолютно не актуальны с общемировой точки зрения. Новая московская архитектура концентрированно выражает культуру нового российского административного капитализма. Поэтому ее главная ценность – поверхностная «крутизна» в стиле анекдотов о «новых русских». На такие запросы иностранцев найти непросто. Ответы могут дать только столь же «новые» российские архитекторы, которые понимают город «чисто фасадно», то есть по принципу: «Казаться, а не быть». Москва превращается в декорацию для игры в жизнь, в политику, в бизнес, в строительство развитого капитализма в отдельно взятом городе. Весь московский архитектурный «фасад» ново-русского капитализма – большая «потемкинская» деревня (с тем отличием, что сам Григорий Потемкин строил не только эти приписанные ему молвой декоративные деревни, но и настоящие новые города).

Философ Михаил Рыклин утверждает: «В начале 90-х годов целые кварталы старой Москвы стояли в руинах. Теперь они застроены или реставрированы. Но в качестве руин начинает функционировать пустота: многие из этих зданий просто не по карману москвичам. Они блистают свежеокрашенными фасадами. Но с точки зрения капитала это те же руины. Они – свидетели времени завышенных ожиданий»[7]. Зодчество становится глашатаем компрадорской идеологии – здания не служат горожанам. А призваны произвести впечатление на заграничных посетителей. Фасадная арихитектура воспроизводит впечатления новых «господ» о том, какая Россия должна понравиться иностранцам. Какой последние якобы хотят ее видеть.

Теперешние реконструкторы России и гонконгистой Нью-Москвы, по всей видимости, чувствуют себя новыми Петрами-преобразователями. Однако идейная пустота заставляет их бессистемно гоняться то за одной, то за другой из призраков далекого прошлого. На одном берегу Москвы-реки ново-старый храм Христа Спасителя имитирует формы московской Руси. На другом сооружен монструозный памятник Петру I, который жизнь положил, чтобы и самому вырваться, и страну вырвать из форм старомосковского бытия. Поистине сон разума порождает чудовищ. Такой Петр-гигант понадобился потому, что в Москве пытаются в очередной раз воздвигнуть Нью-Петербург, новую столицу новой страны. И именно подспудное ощущение тщетности этого породило это скульптурное междометие с восклицательным знаком как истошный крик в споре, за неимением других значимых аргументов.

Храм Христа Спасителя, по замыслу, должен был окончательно перечеркнуть проект предыдущего Левиафана от архитектуры – Дома Советов, который планировали строить на месте снесенного храма. Этот социалистический небоскреб должна была венчать грандиозная фигура Ленина с правой рукой, поднятой, как замечено, почти так же, как теперь воздевает руку с каким-то свитком церетелевский Петр Христофорович. И получается, что Дом Советов все таки построен, но в два этапа. Просто верхняя часть перенесена на другой берег реки. «Мы с тобой – два берега...». «Расстоличенный Петербург передал белокаменной не только власть, но и главную примету – искус-

ственность бытия. Теперь уже не Питер, а Москва является «выдуманным городом»»[8]. Храм, по словам искусствоведа М.Алленова, стал и.о. Дворца Советов[9].

Если весь мир одержим проблемой безопасности, то даже странно, что не Москва в авангарде такой одержимости. Любые меры в этой сфере, на фоне реальной незащищенности, идейной и психологической неопределенности, выглядят ярче и зрелищней, чем шаги, направленные на излечение глубинных, но, по этой же причине, не столь очевидных и, как кажется, менее конкретных причин общего заболевания. Сегодня «городские» страхи, в отличие от тех, что когда-то привели к возникновению городов, сосредоточены вокруг «внутреннего врага». Стены, некогда окружавшие города, теперь вдоль и поперек избороздили саму его территорию во всех направлениях.

Пришло время пройти через символы как через дверь в освобожденное общественное пространство. Так называемые «тесно спаянные сообщества» прошлого возникали и существовали благодаря разрыву между почти мгновенной связью внутри небольшого сообщества, размеры которого определялись свойствами «средств передачи» (то есть ограничивались природными возможностями человеческого зрения, слуха и способности к запоминанию/забыванию) и громадным временем и расходами, нужными для обмена информацией между сообществами. Хрупкость и ненадежность нынешних сообществ обусловлена сокращением и полным исчезновением этого разрыва. Теперь связь внутри сообщества не имеет никаких преимуществ над обменом информации между сообществами. И то и другое осуществляется мгновенно. «Отделение движения информации от перемещения ее носителей и объектов привело, в свою очередь, к дифференциации скорости их передвижения; передача информации набрала скорость темпами, недостижимыми для перемещения физических тел или изменения ситуаций, о которых эта информация сообщала»[10]. Освобожденное от физических ограничений человеческого тела пространство было обработано, сконцентрировано, организовано, нормировано. Пространство нового времени строилось как жесткое, прочное, вечное и непререкаемое. Общество должно было превратиться в иерархическую пирамиду постоянно увеличиваю-

щихся и все более всеобъемлющих «местностей», над которыми на самой вершине стоит общегосударственная власть, следящая за всеми, но сама никем не контролируемая. Одна из главных государственных задач этой эпохи – стремление добиться «читаемости», прозрачности пространства и в то же время полного иммунитета от семантической обработки со стороны пользователей или жертв. Интерпретационные инициативы «снизу», способные наполнить фрагменты пространства смыслами, неизвестными и непонятными сильным мира сего, придающие этим фрагментам неуязвимость от контроля сверху, не приветствуются. Война с пространством приобретает характер картографической войны. Если раньше карта отражала и фиксировала рельеф местности, то теперь пришла очередь местности стать отражением карты, подняться до уровня той упорядоченной прозрачности, которого стремились достичь на картах. Так возникли «литературные города», не только в буквальном смысле, как продукт воображения литераторов, но и в глубинном смысле. Москва в последние годы стала местом масштабных не только артистических, но и поэтических встреч. О них можно было рассказать на бумаге во всех мельчайших деталях, так как в них нет ничего неясного, что бы описанию не поддавалось. Особый характер приобретает в таком дисциплинированном пространстве и власть архитектуры, торжество которой (в замыслах Ле Карбюзье и Нимейри) означало бы *смерть улицы* как неорганизованного и случайного побочного продукта нескоординированной и асинхронной истории застройки, места, где царит стихийность и двусмысленность.

С появлением глобальной информационной паутины над этим территориальным/урбанистическим/архитектурным пространством возникло третье, кибернетическое пространство, лишенное собственно пространственных измерений, но вписанных в единственную темпоральность моментального распространения. ««Местность» в новом мире высоких скоростей – это совсем не то же, чем была местность в те времена, когда информация перемещалась только вместе с самими ее носителями; и сама местность, и местное население имеют мало общего с понятием «местное сообщество». Общественные пространства – агоры и форумы в их различных проявлениях, места,

где определялся круг вопросов для обсуждения, где личные дела превращались в общественные, где формировались, проверялись и подтверждались точки зрения, где составлялись суждения и выносились вердикты – эти пространства вслед за элитой сорвались со своих местных якорей; они первыми «детерриторизуются» и распространяются далеко за пределы возможностей «естественной» связи, которыми обладает любая местность и ее жители. Вместо того, чтобы служить очагом сообщества, местное население превращается в болтающийся пучок обрезанных веревок»[11].

Судьбы цивилизации и культуры зависят от нашего переоткрытия местностей.

Примечания

1 *Левада Ю.* Советский человек и западное общество: проблема альтернативы // *Левада Ю.* Статьи по социологии. М., 1993. С. 180, 181.

2 *Базарова Э.Л., Бицадзе Н.В., Окороков А.В., Селезнева Е.В., Черносвитов П.Ю.* Культура русских поморов. М., 2005. С. 153.

3 *Поспелов Г.* Указ. соч. С. 296.

4 *Орехова Л.А.* Север и Юг в биографии Н.И.Надеждина: мифологический и архивно-фактографический аспекты // Северный текст в русской культуре: Материалы междунар. конф., Северодвинск, 25–27 июля 2003 г. / Отв. ред. Н.И.Николаев. Архангельск, 2003. С. 47.

5 *Мандельштам О.* Т. 2. С. 167.

6 *Грин Н.Н.* Из записок об А.С.Грине // Воспоминания об Александре Грине. Л., 1972. С. 527.

7 *Рыклин М.* Пространства ликования. М., 2002. С. 118.

8 *Смирнов С.Б.* Пг.–М., С. 252.

9 *Аленов М.* Тексты о текстах. М., 2003. С. 387.

10 *Бауман З.* Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004. С. 27.

11 Там же. С. 39.